

Д.Н. Мамин-Сибиряк

Охонины брови

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М22

М22 **Мамин-Сибиряк Д.Н.**
Охонины брови / Д.Н. Мамин-Сибиряк – М.: Книга по Требованию, 2021. –
78 с.

ISBN 978-5-4241-3326-8

Мамин-Сибиряк - подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности - мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк - один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

ISBN 978-5-4241-3326-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Д.Н. Мамин-Сибиряк, 2021

Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк
Охонины брови

Часть первая

I

В нижней клетки усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степаньчем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе.

– Имею большую причину от игумена Моисея, – жаловался дьячок Арефа товарищам по несчастью. – Нещадно он бил меня шелепами!... А еще измором морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Новшества везде завел, с огнепальной яростию работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

– И долготовал, – отвечал слепец Брехун. – Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье... Не поглянулось, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

– Жив смерти боится, – угнетенно соглашался Арефа и тяжело вздыхал.

– А тебя-то он за што изживал?

– Немошь у меня, Брехун.

– Насчет Дивьей обители, што ли? – ядовито спрашивал Брехун. – Может, дьячиха нажалилась отцу игумену...

– Тоже и сказал человек! Статочное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунить над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

– Немошь у меня к зеленому вину, – объяснял дьячок, – а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек слабеет!.. Ну, игумен Моисей и истязал меня многожды...

– И шелепами, и плетями, и батожем?

– Всячески... Он и на попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остяков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская огромная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые уголья, да три рыбных озера, да двои рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворья. Одного сена ставили больше двенадцать тыщ копен... Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло

и одного оброка тыщу рублей ежегодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу – и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети² не оставили, а тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

– Сказывай! – недоверчиво ворчал Брехун. – Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

– Нечем трясти-то, коли все отняли.

– Шука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиною бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сторбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одною рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта³, когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полною противоположностью «мухортого» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубахе и таких же портах. Дьячок Арефа и слепец Брехун вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитанья по Зауралью и Оренбургской степи.

– Бывал я и в степе, – задумчиво говорил дьячок. – С благословения прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить.

– Как цепная собака без своей конуры?

– Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей труденько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород, – по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью. Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую вотчину, – домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было уштититься, а пасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе, так и называется – прокопьевский торжок.

– Прокопьев-то день по всей Сибири прошел, – объяснял Брехун, – крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса

света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская «запечная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачинный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением и визгами, как визжит железо под пилой.

– Ох, горе душам нашим! – вздыхал Арефа, съезживался и шептал молитву.

– Што, не глянется? – смеялся Брехун. – Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а катом⁴ у него башкир Кильмяк – такая собака, што не приведи бог во сне увидеть... С одного раза может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуехтом-то Степанычем рука руку моет.

– Слышь, как резанул опять Кильмяк?.. Батюшки-светы, преподобный Проконий! – молился вслух Арефа, прислушиваясь к запечной работе. – Што же это будет такое? Душеньку вынули...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с полицным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самим грозным игуменом Моисеем, как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал раны на спине его хлебным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро, вместо усатой солдатской рожи, в оконце показалось румяное девичье лицо.

– Здесь батя? – спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

– Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! – откликнулся Арефа, подходя к оконцу. – Да как в город-то попала, родная?

– Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезьми вся изошла матушка-то...

– Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то месте не боишься?

– А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

– Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то ровно такого не упомяну в Проконьевском... Разве пришлый какой?

– Нет... Пономарь-то наш Герасим, помнишь? – он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется.

– Ах, какой грех... то есть оно, конечно, божье дело, а жаль парня. Как же это так вышло-то, Охонюшка?.. Ну, его дело, ему и ближе знать. А поп Мирон

што?

– Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить... А я к тебе, батя, каждое утро буду приходиться. Матушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, батю», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови – союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одега она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

– Это чья такая будет? – спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на вопрос сам воевода.

– Моя, видно, – ответил Арефа не без гордости. – Дочерью прежде звали...

– Что-то не похожа на тебя, – усомнился Белоус.

– Говорят тебе, что моя! – сказал Арефа. – Не лошадь, тавра не положено.

– То-то вот и есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

– Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не разберу... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду посылал, на степные озера. Съездил я до трех раз и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мной. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой». – «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». – «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак... Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут ночью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали, – ну, один кыргыз меня копьём к земле приколочил, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная, – мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предоставили колотого. Полгода я лежал так-то, – нога у меня насквозь копьём пройдена. Пришел после в свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ушитил мою дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

– Какая?

– Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот какая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съезжил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

II

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот

караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам, – где только она набрала таких жалких бабьих слов!

– Родимый ты мой батюшка, застава наша богатырская! – голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке. – Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла-горя не ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат, – очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалась к их окну.

– Не застуй⁵, девка... – заметил он ей всего один раз. – Без тебя тошно.

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты накинулись отгонять ее.

– Убирайся, девка, откуда пришла! – кричал на нее сердитый капрал.

– Я не девка, а отецкая дочь, – бойко отвечала Охоня.

– Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову... Воевода придет, так наотвечаешься за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

– Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

– Креста на вас нет, скобленные рыла!.. – кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию. – Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могутная была дьячковская дочь и надавала команде таких затрещин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

– Не давайся, Охоня, вшивой команде! – послышался из подземелья знакомый молодой голос. – Катай их по бритым-то рылам!

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаныч.

– Стой, команда! – зычно крикнул он на солдат. – Что за драка?

– Вот девка увязалась, – жаловался капрал. – Никак не могли ее отогнать от избы.

– Не девка, а отецкая дочь! – с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи. Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шархнул-

ся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

– Ущити, воевода, честную отецкую дочь! – кричала Охоня. – Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

– Постой, дура! – крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь. – Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

– Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он на цепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

– Выпустить колодников! – приказал он. – А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глупая...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сидения. Белоус и Аблай были прикованы к середине железного прута, а Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой, – дескать, хороши голуби.

– Ну, отецкая дочь, выбирай любого, – сказал воевода. – Ни которого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаньями, так что воевода опять нахмурился.

– Будет, не люблю, – сказал он и прибавил, обращаясь к капралу: – Раскуйте этого дурака дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

– Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумна претерпел, – заговорил Арефа, стучаясь лбом в землю.

– Ну, ладно, потом разберем, – ответил воевода. – Кабы не вырастил такую острую дочь, так отведать бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь, – это Белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним на воеводу или Охоню, – трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали.

– Гей, приковать его за шею отдельно от других! – скомандовал воевода.

– Спасибо на добром слове, – поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук. – А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать – не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались

башкир Аблай да слепец Брехун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

– Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сидению в «зузище». Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поравнявшись с соборною церковью, стоявшею на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти.

– Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими слезами, – сказал он дочери, – а бысть мне в нощи прещение... Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

– Скорее бы только из городу выбраться, батя, – говорила Охоня, – а там уж все вместе помолитвuem преподобному.

– Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидали выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьсот. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно – новый собор, выстроенный тщанием, а отчасти иждивением воеводы Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города: одни – на полдень, другие – на север, а третьи – прямо в орду, то есть в сторону степи. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «заворохи» сюда сбегались посельщики из всех окрестных деревень, поселков и займищ, пока не улегалась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая Набежная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными пристройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми.

– Жаль, што поп-то Мирон уехал, – жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух. – Довез бы он нас по пути.

– И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться, – говорила Охоня, занятая одною мыслью. – То-то мамушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего

здесь на покое, да нескольких амбарных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили, как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

– Мертв был, а теперь ожил, – шептал старик и качал своею седою головой, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось. – На счастливого все, Охоня. Вот поп-то Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст⁶ до монастыря – не дальняя дорога. В двои сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня, – Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня, – она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

– Зело оскорбел во узилице, доченька, – жаловался Арефа. – Сидел на гноище, как Иов многострадальный...

Забравшись в бане на полок, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подрыснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

– Перестань, дура, – проговорил очнувшийся Арефа. – Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невреदिма, а вперед – бог. Сподобился и в бане попариться.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крикнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.

– Где здесь дьячок Арефа? – спрашивал старший.

– Нету его, – уехал домой! – ответила за отца Охоня.

– А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погонно пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

– Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Вот уж оболюкось и предстану воеводе.

– Ты поскорее, дьячок, – воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидела воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

– Батя, не ходи: расказнит тебя воевода, – шепнула она отцу. – А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.